



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Два лагеря теоретиков (По поводу «Дня» и кой-чего другого)

<Фрагмент>

<...> Допетровская Русь привлекает к себе наше внимание, она дорога нам — но почему? Потому, что там видна целостность жизни, там, по-видимому, один господствует дух; тогда человек, не так, как теперь, чувствовал силу внутренних противоречий самому себе или, лучше сказать, вовсе не чувствовал; в той Руси, по-видимому, мир и тишина... Но в том-то и беда, что допетровская Русь и московский период только видимостью своею могут привлекать наше к себе внимание и сочувствие. А если повнимательней взглянуть в эту, по-видимому, чудную картину, в отдалении рисующуюся нашему воображению, мы найдем, что не всё то золото в ней, что блестит... Она потому и хороша, что вдалеке от нас, что ее показывают при искусственном освещении. Посмотря на нее вблизи, найдешь, что тут и краски слишком грубы, и фигуры аляповаты, и в целом что-то принужденное, натянутое, ложное... Действительно, лжи и фальши в допетровской Руси — особенно в московский период — было довольно... Ложь в общественных отношениях, в которых преобладало притворство, наружное смирение, рабство и т. п. Ложь в религиозности, под которой если и не таилось грубое безверие, то по крайней мере скрывались или апатия или ханжество. Ложь в семейных отношениях, унижавшая женщину до животного, считавшая ее за вещь, а не за личность... В допетровской, московской Руси было чрезвычайно много азиатского, восточной лени, притворства, лжи. Этот квиетизм, унылое однообразие допетровской Руси указывают на какое-то внутреннее бессилие. Если московская жизнь хороша была, то, скажите пожалуйста, что же заставило народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? Одним словом, что произвело наш русский раскол? Ведь выходит, что нельзя сливать Москву с народом, нельзя московскую, допе-

тровскую жизнь признавать за истинное, лучшее выражение жизни народной. «День» говорит, что в допетровской Руси были пороки только, а не ложь... Выражение слишком неопределенное... пороки в семейных и общественных отношениях... Да что же, спрашивается, после этого ложь? Не ложь ли производит и пороки, на малость которых нельзя пожаловаться в допетровской Руси?

И по этому-то московскому идеалу славянофилы хотят перестроить Русь... Для них всё наше развитие, положим небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со времен Петра, — всё это равняется нулю... Они ужасно бранят Петра за то, что, по выражению Аксакова, он заварил кашу слишком крутеньку, а сами немного уступают ему в своей крутости. В них видна та же допетровская бесцеремонность с жизнью... Для славянофильства теория — такая же беспощадная, такая же скорая на всё, как и всякая другая... Нет, уж со времен Петра много воды утекло, и далеко зашла эта вода, и так ее много, что решительно нет никакой физической возможности поворотить ее назад или вовсе ее уничтожить... Положим, вы бы, например, вздумали дать сток стоячей воде и для этой цели начали бы копать канал... Давно уж вы начали эту работу, прокопали большое пространство... Но работа ваша идет очень плохо, медленно; ваш канал слишком неглубок, и впереди не предвидится вам возможности углубить его, потому что в распоряжении вашем слишком мало рабочих рук, да и рабочая ваша масса не подновляется свежими силами... Вот вы разумеете причину своей неудачи... Оказывается, к вашему изумлению, что направление вы своему каналу дали не такое, какое нужно дать, что главная масса рабочих, которая главным образом составляет вашу силу, на которую хотели опираться вы, которая могла бы вести ваш канал вперед, и широко, и глубоко, и прочно, — эта главная масса рабочих, вся, так сказать, суть вашей силы, отстала от вас, закопала свой канал и пошла пробивать себе дорогу по другому направлению. Ну что вы тут станете делать... Оставить всю сделанную вами работу? Но как-то чувствуется вами, что и ваша работа, как бы ни была, положим, мала она и не достаточна, все же работа вы сознаете, что и вы кое-что сделали и что добытое вами могло бы пригодиться и той главной массе рабочих, которая отстала от вас. Таким образом, воротиться нельзя, потому что зашли-то очень далеко. И нельзя идти далее, потому что это значило бы только еще более расходиться с главной силой, еще сильнее чувствовать свое бессилие и глубже сознавать необходимость общего соединения. Что тут делать? Не лучше ли вам, не бросая своей работы, открыть сообщения с главной массой и поэтому узнать направление вашего канала, сама главная масса

против желания придвинется к вам, когда увидит искренность вашего намерения соединиться, если она прежде и смотрела на вас слишком недоверчиво, то это потому, что она не видела от вас никакой помощи себе. Ведь тогда только и пойдет у вас отлично дело, когда вы соединитесь вместе, когда соедините в одно общий, добытой уже опыт и начнете дружно пробивать себе вперед дорогу. Вот этого-то и не хотят понять славянофилы, им того только и хочется, чтобы все добытое нами в продолжение полутораста лет уничтожить и воротить наше общество назад. Возможно ли это дело? Не теория ли это, мало берущая во внимание жизнь?

Так вот два лагеря теоретиков, из которых один отвергает в принципе народность и, следовательно, наше чисто народное начало — земство. Другой понимает значение нашего земства по-своему и, во имя своей теории, не отдает справедливости нашему образованному обществу. Те и другие, как видно, судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть в том и другом взгляде и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?

Несомненно то, что реформа Петра оторвала одну часть народа от другой, главной. Реформа шла сверху вниз, а не снизу вверх. Дойти до нижних слоев народа реформа не успела. Оно, конечно, при тех реформаторских приемах, какие употреблял Петр, преобразование и не могло охватить весь народ: народ переделать очень трудно. Для этого мало железной воли одного человека. Развитие народа совершается веками, уничтожение добытого им может быть задачей тоже одних только веков... Вот в том-то и была ошибка Петра, что он захотел сразу — за свою одну жизнь — переменить нравы, обычаи, воззрения русского народа. Деспотизм реформаторских приемов возбуждал только реакции в массе; она тем крепче усиливалась сохранить себя от немцев, чем сильнее последние посягали на ее народность. С другой стороны, мы чрезвычайно ошиблись бы, если б подумали, что реформа Петра принесла в нашу русскую среду главным образом общечеловеческие западные элементы. На первый раз у нас водворилась только страшнейшая распущенность нравов, немецкая бюрократия — чиновничество. Не чуя выгод от преобразования, не видя никакого фактического себе облегчения при новых порядках, народ чувствовал только страшный гнет, с болью на сердце переносил поругание того, что он привык считать с незапамятных времен своей святыней. Оттого в целом народ и остался таким же, каким был до реформы; если она какое имела на него влияние, то далеко не к выгоде его. Говоря таким образом, мы вовсе не думаем отрицать всякое общечеловеч-

ное значение реформы Петра... Она, по прекрасному выражению Пушкина, прорубила нам окно в Европу, она указала нам на Запад, где можно было кой-чему поучиться. Но в том-то и дело, что она осталась не более как окном, из которого избранная публика смотрела на Запад и видела главным образом не то, что нужно бы было видеть, училась вовсе не тому, чему должна была там учиться... Оттого петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному духу. Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух, какое-то особенное недовольство настоящим, потребность чего-то нового. Несомненно, что в ближайшее время к Петру уже чувствовал народ худобу жизни, заявлял свой протест против действительности и пытался выйти на свежий воздух... Так мы по крайней мере понимаем исторический факт — наш раскол. Такое историческое явление, каков Петр, выросло на русской почве, конечно, не чудом каким. Оно подновлено, несомненно, временем... В русском воздухе носились уже задатки реформационной бури, и в Петре только сосредоточилось это пламеннейшее общее желание — дать новое направление нашей исторической жизни... Но характер всяких переходных эпох таков, что во время их чувствуется сильнейшее желание выйти из пошлого порядка вещей, но как выйти, куда идти, — плохо сознается и понимается... В том-то и была беда Петра, что желание Руси обновиться он понял по-своему, исполнял его тоже по-своему — деспотически прививал в жизнь не то, в чем она нуждалась. Поэтому Петра можно назвать народным явлением настолько, насколько он выражал в себе стремление народа обновиться, дать более простору жизни — но только до сих пор он и был народен... Выражаясь точнее, одна идея Петра была народна. Но Петр как факт был в высшей степени антинароден... Во-первых, он изменил народному духу в деспотизме своих реформаторских приемов, сделав дело преобразования не делом всего народа, а делом своего только произвола. Деспотизм вовсе не в духе русского народа... Он слишком миролюбив и любит добиваться своих целей путем мира, постепенно. А у Петра пылали костры и воздвигались эшафоты для людей, не сочувствовавших его преобразованиям... То самое, что реформа главным образом обращена была на внешность, было уже изменою народному духу... Русский народ не любит гоняться за внешностью: он больше всего ценит дух, мысль, суть дела. А преобразование было таково, что простиралось на его одежду, бороду и т. д. Народ и отрекся от своих доброжелателей-реформаторов, не потому, конечно, чтобы любил бороду, гонялся за одеждой, а потому, что такой преобразовательный прием был далеко не в его духе. И чем сильнее было на него пося-

гательство сверху, тем сильнее он сплачивался, сжимался. Борода и одежда сделалось чем-то вроде лозунга. Может быть, именно под влиянием подобных обстоятельств и сложилась в нашем мужике такая неподатливая, упорная, твердая натура. Как бы то ни было, только факт стал очевиден, что народ отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой — врозь с путями высшего общества... Земство разошлось с служилыми сословиями. Последовавшие за петровской эпохой исторические обстоятельства только усиливали это раздвоение общества от массы народной. О народе — о главном — часто забывали, думали больше о самих себе. Бюрократия развивалась в ущерб народным интересам, давление сверху становилось тяжелей и тяжелей, возбуждая больший упор в народе. Крепостное право усиливалось, об образовании народа думали только немногие горячие головы*. Сословный быт развивался в ущерб низшим классам. Высшие классы скоро утратили самый язык, на котором говорила масса. Чужестранный элемент развивался в небывалых размерах, и по обстоятельствам, по общественному своему положению, владея материальной силой, старался забрать в свои руки чуждый ему народ. Интересы разошлись до того, что всякое искреннее сочувствие народным интересам, выходившее не из народной среды, принималось массой с недоверчивостью, даже с неудовольствием, потому что она не могла понять, каким это образом господа могут хлопотать о мужике: горькая действительность несколько раз убеждала его, сколько лжи и обмана, сколько узкого эгоизма и своекорыстия скрывается иногда под видимым участием. В точно таких же почти отношениях находятся и теперь эти две силы, разошедшиеся друг с другом очень давно. И теперь сколько разбивается самых лучших намерений в интересах народа, именно потому, что народ не верит в их искренность. Обвинять тут народ в невежестве, непонимании хорошего, ставить подобные вещи ему собственно в укор чрезвычайно недобросовестно. Согласитесь, что иногда наши ласки к народу только нам кажутся ласками, а зачастую, в сущности-то, они бывают медвежьи. Мы ведь, нужно говорить правду, не умеем подойти к народу. Уж в этом отношении никогда нет середины. У нас или грубость такая, что просто из рук вон, или такая маниловщина, что беда да и только. Ну поймет ли нас народ, когда мы явимся к нему в лайковых перчатках и будем с простым мужиком обращаться на «вы»? Сами, конечно, виноваты. Зато редко, редко бывает, что народ верит нам и пользуется нашими советами. Из усердия к народным интересам мы являемся его советниками, например, по земледельческому его делу. Говорим ему устно и печатно, сочиняем нарочно для этой цели книжки. Но читает ли их народ, даже те, которые

ему попадают случайно в руки? Слушает ли он наши наставления? Да! читает и слушает из простого любопытства, как о новых, прежде им неслыханных вещах, с такой же охотой читает, как и Еруслана Лазаревича. Но он и не думает применять наши наставления к делу, потому, дескать, это не наше дело, а барское, писаны книжки не для нас, а для господ. И не то чтоб он тут не понимал нас, а просто потому, что не верит нашим книжкам, нашему усердию в пользу его. — С трудом прививаются народной массе и нравственные и религиозные понятия людьми, которые не из ее среды. А посмотрите, с каким напряженным любопытством, с какою жадностью, лихорадочным вниманием безмолвная толпа слушает грамотного мужика. Факт, например, и то, что сколько ведь напускной лжи и двоедущия принимает на себя мужик пред нашими судами, как иногда усиленно ловит он случай стянуть из барского кармана лишнюю копейку. Между тем нередко этот лжец, двоедушный обманщик сам-то в себе честный человек, честный пред своей общиной, пред своим миром, и не подумает обмануть своего брата мужика или схитрить пред миром... Потому, видите ли, делаются тут дела так, что суд мира есть суд в высшей степени народный, обмануть своего считается бесчестьем. А к нашему брату он не чувствует никакой привязанности, нет у нас с ним общих, связывающих уз, нет общих интересов. Вот и кажемся мы народу в некотором роде татарами, нехристями, с которыми не грех обойтись помудреней, чем с своим братом. В нашем присутствии мужик уже вовсе не тот, каков он со своими: он стесняется, он официален, хочет казаться. До такой степени наше общество разъединилось с народом!

Вот почему нельзя говорить, что, дескать, зачем отделять высшее общество или, точнее выражаясь, образованное общество от массы народа. По идее-то оно выходит как будто и так, да и в сущности-то оно так. Только беда наша в том, что на практике народ отвергает нас. Это-то и обидно, этого то причины и должны мы доискаться. Родились мы на Руси, вскормлены и вспоены произведениями нашей родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но, на беду, всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение «наш», и, конечно, самым лучшим благочестивым желанием передовых русских людей всегда будет настолько соединиться с народом, чтоб он не отделял образованных людей от себя и считал образованное общество своим. Но это будет задачей долгого времени, и блаженное время окончательного соединения оторванного теперь от почвы общества — еще впереди. До того же времени называть себя *de facto* народом, частью той массы, которая составляет наше крестьянство, земством — будет

самообольщением. Ведь нельзя, например, не задуматься над тем, почему это мы не можем теперь найти язык, на котором могли бы искренно, сердечно беседовать с народом, почему это так сильно чуждается нас народ, так трудно нам, если только не невозможно, войти в дух, понятия и интересы народа; почему это инстинкт народный так упорно не хочет узнать в нас своих друзей? Конечно, такое явление происходит оттого, что мы разобщены с народом, что история вырыла между им и нами пропасть...

И снова повторяем, что невозможно обвинять народ в том, что он плохо понимает нас, что он не развит, что он чуждается нас... Опять скажем, что в неразвитости народа виноваты и мы сами. Отчего же мы целых полтора-два года забывали о нем, не хлопотали об его развитии, предоставили его самому себе на произвол судьбы — и судьбы тягостной. Можем ли мы после этого требовать от него нравственной развитости? Во-первых, сколько есть и между нами людей, которые по своим нравственным понятиям не только не стоят выше мужика, но даже гораздо его ниже. Где, как не в этом образованном обществе, скрывается такая подлейшая ложь, такой грубый обман, такая нравственная подлость, что ей и названия не найдешь? Образованная ложь всегда выражается в жизни циничнее; тем отвратительней становится она нравственному чувству человека, чем, по-видимому, толще покрыта лаком внешней образованности и прогрессивных понятий. Если бы вы взяли простого балалайщика с рынка и он не стал бы понимать, в чем заключается вся суть очаровательной гармонии Моцарта или Бетховена, стали бы вы на него претендовать? Чтоб понимать высшую гармонию звуков, для этого нужно иметь очень развитое ухо; на каком же основании станете вы требовать от полуразвитого уха совершенного понимания высшей гармонии? Ведь это значило бы требовать от яблони апельсинов. И то еще нужно заметить тут, что не всегда верны те наблюдения над простым народом, какие делаются, например, г-ми Успенским и Писемским. Наблюдение над нашим простым мужиком делается, как известно, чрезвычайно поверхностно; глубь-то его душевная упускается, о ней часто и не знают те, которые, по-видимому, вблизи изучают народ, и это опять потому, что мужик не любит весь раскрываться пред господами. Оттого недоверие к бесчестности, глупости мужика, не только не бесполезно, а даже обязательно. Жаль только, что наши скептики, прилагающие свое отрицание ко всему, не употребляют его в дело на указанном нами пункте.

И от этого раздвоения народа страшно страдают обе его части. Отсутствие общих пунктов у высшего общества с низшим; противоположность интересов, созданная историческими обстоятельствами, заставляет его относиться враждебно к народу. Народу некогда

идти вперед, потому что при настоящих отношениях к высшему обществу у него хватает времени только на отстаивание того, что у него есть. Предоставленный самому себе, он коснеет в невежестве, совершенно лишен всякого участия в тех общечеловеческих результатах европейской цивилизации, которыми, впрочем, только в некоторой мере владеет образованное общество. Он и прозвал себя горемыкой, потому что сам-то по себе находит весьма трудным выйти из того незавидного положения, в какое поставили его исторические обстоятельства. Редко, редко находит он себе вождей, которые указывают ему новые пути, собирают в одно его разрозненные, рассеянные силы и мощно двигают их к одной цели. И сколько тут пропадает силы! Эта тучная, могущая быть плодovитейшею земля должна лежать если не совсем впусте, то приносить вовсе не те плоды, какие могла бы приносить...

От разрыва с народом страдают и высшие классы. Их силы сравнительно с силами народа — чрезвычайно малы, если не ничтожны.

Разрозненные с народом высшие классы не подновляются новыми силами — оттого чахнут, ничего не вырабатывают. Не имея твердой точки опоры, они не имеют впереди ясно поставленной и точно обозначенной цели. Оттого их существование принимает какой-то бесцельный характер. Не сливая своего дела с земским делом, они по необходимости должны были поставить впереди себя только узкие цели. Оттого все лучшие порывы вперед нашего общества неизбежно отпечатлеваются каким-то характером безжизненности, чахлости... Говорят, что у нас в России не привилась наука... именно потому и не привилась, что страна располагает в пользу ее слишком малыми свежими силами. А между тем сколько сил хранится в этих сорока миллионах людей, которые чужды вовсе науки, даже не слыхали о ней. Сколько бы могло быть даровитейших тружеников науки, если бы вся эта масса была призвана к жизни, если бы открыты были двери для талантов, таящихся в ней... Без соединения с народом никогда, пожалуй, не удадутся высшим классам и попытки улучшить общественный быт страны. Самая сфера мысли образованного нашего общества приняла характер какой-то условности, потому что в нее не вносятся новых, свежих мыслей из массы народной, потому что не являются на умственную арену новые, свежие бойцы. И только тогда у нас явится и прочно установится наука, когда она будет достоянием не одного или нескольких привилегированных сословий, а всей массы народа... Тогда только выработается именно тот общественный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие классы будут опираться не на одних только самих себя,

а и на народ; тогда только может прекратиться эта поразительная чуждость и безжизненность нашей общественной жизни.

И вот когда у нас будет не на словах только, а на деле один народ, когда мы скажем о себе заодно с народной массой — мы, тогда прогресс наш не будет идти таким медленным прерывистым шагом, каким он идет теперь. Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечеловечном, когда разовьем в себе национальное... Прежде чем понять общечеловеческие интересы, надобно усвоить себе хорошо национальные, потому что после тщательного только изучения национальных интересов будешь в состоянии отличать и понимать чисто общечеловеческий интерес. Прежде чем хлопотать об ограждении интересов всего человечества во всем мире, — нужно стараться оградить их у себя дома. А то может случиться, что за всё возьмемся и нигде не успеем. Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развить ту или другую сторону общего человека... только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего материального состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом первенстве пред своими соседями. Разные народы, разрабатывающие общечеловеческие задачи, можно сравнить с специалистами науки; каждый из них специально занимается своим предметом, к которому, предпочтительно пред другими, чувствует особенную охоту. Но ведь все они имеют в виду одну общую науку. И отчего наука всего более идет в широту и глубину, как не от специализации ее предметов и частной разработки их отдельными личностями?

Таким образом, собственные наши интересы и интересы человечества требуют, чтоб мы возвратились самым делом на почву народности, соединились с нашим земством. Но теоретики опять задают вопрос, в чем же должно состоять это сближение с народом? Чтобы не распространяться об этом предмете много, мы скажем коротко, что для сближения с народом образованных классов нужно:

1) Распространить в народе грамотность. Народ наш беден и голодает вовсе не оттого, чтоб у него мало было средств к добыванию

насущенного хлеба. Земли у нас много, заработка не трудна, по недостатку рабочих рук. Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. Значит, прежде всего нужно позаботиться об его умственном развитии.

2) Облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места. Средство это стоит в тесной связи с вопросом о сословных правах и привилегиях.

3) Для сближения с народом нужно несколько преобразоваться нравственно и нам самим. Нам нужно отказаться от наших сословных предрассудков и эгоистических взглядов. Народу тяжелы наши кулаки, которые когда-то были так в моде, да он не терпит и оскорбительной для него французской вежливости. Нужно полюбить народ, но любовью вовсе не кабинетною, сентиментальною.

Да! нужно открыть двери и для народа, дать свободный простор его свежим силам. Так мы понимаем сближение с народом. Читатели видят, что оно вовсе не фраза, пустое слово, а имеет большое значение в теперешней нашей общественной жизни.

Но в том-то и дело, скажут нам скептики, что мы и народ не способны ни к какому лучшему будущему. За целую тысячу лет своей исторической жизни ничего не сделали ни мы сами, ни народ. Применяя к Руси известную мысль Монтескье — всякий народ достоин своей участи, что можем сказать хорошего о нас и этом народе, который и т. д.? Об этом вопросе мы скажем следующее:

Во-первых, на что указывает нам русский раскол?.. Замечательно, что ни славянофилы, ни западники не могут как должно оценить такого крупного явления в нашей исторической жизни. Это, конечно, происходит оттого, что они теоретики. По их теории действительно не выходит, чтоб в расколе было что-нибудь хорошее. Славянофилы, лелея в душе один только московский идеал. Руси православной, не могут с сочувствием отнестись к народу, изменившему православию. Западники, судя об исторических явлениях русской жизни по немецким и французским книжкам, видят в расколе только одно русское самодурство, факт невежества русского, гнавшегося за сугубым аллилуйя, двуперстным знамением и т. д. Они не поняли в этом странном отрицании страстного стремления к истине, глубокого недовольства действительностью. Оно и неудивительно, потому что, судя о вещах по теории, легко закрыть глаза на многое, легко напустить на себя своего рода ослепление. И этот факт русской дури и невежества, по нашему мнению, самое крупное явление в русской жизни и самый лучший залог надежды на лучшее будущее в русской жизни.

Во-вторых, скептики забывают, что народ удержал до сих пор, при всех неблагоприятных обстоятельствах, общинный быт, что, не зная начал западной ассоциации, он имел уже артель. Западные публицисты после долгих поисков наконец остановились на ассоциации и в ней видят спасение труда от деспотизма капитала. Но в западной жизни это общинное начало еще не вошло в жизнь; ему ход будет только в будущем... На Руси оно существует уже как данное жизнью и ждет только благоприятных условий к своему большему развитию. А главным образом тут должно обратить внимание на то, с каким упорством народ отстаивал целые века свое общественное устройство и все таки отстоял... Что ж это за явление, как не доказательство того, что народ наш способен к политической жизни?

В-третьих, посмотрите, какой иногда такт в суждении, какая зрелая практичность ума, меткость в слове проявляется в этом народе, который не имеет никакой юридической подготовки, не знает римского права. Законоположение 19 февраля вызвало народ к жизни, поставило его в новые условия, — и он вовсе не оказался неспособным обсуживать свое новое положение... Если вы следили за крестьянским делом, вы не можете не согласиться, что в фактах его проявляется не одно только невежество и глупость...

Да наконец, хотя бы эта способность самоосуждения, которая проявляется на Руси с такой беспощадно-страшной силой, не доказывает ли, что самоосуждающие способны к жизни? Не в русском характере иметь такой узкий национальный эгоизм, какой нередко встретить можно у англичанина, у немца, у француза. Так ли народ наш привержен к своим обычаям, поверьям, своему быту, как, например, англичанин к своим учреждениям. Не потому русский народ слишком крепко держится своего, что оно свое, а потому, что он не слыхал ничего лучшего, потому что все другое, рекомендованное ему со стороны, он нашел худшим. Он потому и держится своего, что оно лучшим ему кажется из всего, что он слыхал и видал. А вот посмотрите, с какой настойчивостью отстаивает англичанин свои университеты, хотя и сознает, что их устройство далеко расходится с современными понятиями*. Ему дорог английский метод воспитания и образования не потому, чтобы он считал его лучшим из всего, что он знает в этом отношении, а потому, что это свое. Или посмотрите на ту сальную иногда сентиментальность, с какою немец рассуждает о своей полиции или своих Rath'ах, и о превосходстве немецкой нации пред другими. Вот француз, который постоянно толкует о славе нации, о своих национальных учреждениях, о военных своих подвигах, потому только, что, заговори он иначе, он изменил бы своей славной

нации. Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя, иногда даже он несправедлив к самому себе, — во имя негодующей любви к правде, истине. С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрина и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма.

И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни. Не та болезнь опасна, которая на виду у всех, которой причины все знают, а та, которая кроется глубоко внутри, которая еще не вышла наружу и которая тем сильнее портит организм, чем, по неведению, долее она остается непримеченною. Так и в обществе... Сила самоосуждения прежде всего — сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни — предполагает страстную тоску о здоровье.

И неужели отрицание наше кончится только одним разрушением? Неужели на месте полуразрушенных зданий ничего не воздвигнется и это место останется пустым пожарищем?... Неужели мы настолько задохнулись, настолько замерли, что нет надежды на наше оживление? Но если в нас замерла жизнь, то она несомненно есть в нетронутой еще народной почве... это святое наше убеждение.

Мы признаем в народе много недостатков, но никогда не согласимся с одним лагерем теоретиков, что народ непроходимо глуп, ничего не сделал в тысячу лет своей жизни, не согласимся, потому что излишний ригоризм нигде не уместен... Если друзья будут о нем такого мнения, то что же останется для его недоброжелателей?

Пушкин

<Фрагмент>

В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только